

Николай Иванович Ульянов (1904—1985) — русский историк и писатель, с широким кругом интересов, включавших и национальный вопрос. Отправленный в 1943 г. немецкими оккупационными властями как «остарбайтер» в Германию, после окончания войны остается за границей; в 1955 г. приезжает в США. Автор работ: Разинщина. Харьков, 1931; Очерки истории народа Коми-Зырян. Л., 1932; Колонизация и экономика Мурманска в XVII в. // Исторический сборник. Академия наук СССР. № 1. 1934; Крестьянская война в Московском государстве начала XVII в. Л., 1935; Исторический опыт России. Нью-Йорк, 1962; Замолчанный Маркс. Изд. «Посев», 1969 и др. Его книга «Происхождение украинского сепаратизма» (Нью-Йорк, 1966) перепечатана в России издательством «Индрик» в 1995 г. Список трудов Н. И. Ульянова опубликован в сборнике «Отклики» (Нью Хэвен, 1986), посвященном его памяти.

© 1996 г., ЭО, N 5

Н. Ульянов

### «ПАТРИОТИЗМ ТРЕБУЕТ РАССУЖДЕНИЯ» \*

То, что зовется национальной сущностью — такая же тайна, как душа, как талант, как индивидуальность. У нее нет ни имени, ни определения, ни описания, она выражается в характере, в подвигах, в творениях, и другого способа выражения не имеет. «Кто мог бы облечь в понятия или в слова, что есть немецкое?» — спрашивал Леопольд Ранке. *Was ist deutsch?* Каутский, обративший внимание на этот вопрос, совершенно законно сближает его с тем, что Фауст говорил Маргарите о Боге: «Чувство — все; имя ж — дым и звук пустой». Нация есть величайшая определенность и величайшая неопределенность. Подобно божеству, она не терпит вложения перстов и эмпирического изучения. Испытующая рука хватается пустоту, как при попытке обнять бесплотный призрак. Блок это понимал:

Ты и во сне необычайна,  
Твоей одежды не коснусь,  
Дремлю — и за дремотой тайна,  
И в тайне — ты почишь, Русь.

Создание величайших ценностей европейской культуры падает на те времена, когда почитали эту тайну, не гнались за «пустым звуком», не впадали в соблазн ответить на вопрос *Was ist deutsch* или *Was ist franzosisch?*, но умели немецкое и французское выражать так, как в наше время уже не умеют. Этим объясняется урожай на Шиллеров, Гёте, Кантов, Декартов, Мольеров, Расинов.

Если искать причины творческого горения европейского человечества на протяжении больше чем пяти столетий, то не национальную ли стихию надлежит прежде всего иметь в виду? Ведь мы и узнаем-то нацию по музыке, по картинам, по архитектуре и поэзии, по государственным и общественным формам, по быту, костюму, по языку. Национальность раскрывается в творчестве. Значит и творчество народа без нее трудно представить. Какое бы сходство ни наблюдалось между культурами различных стран, оно не способно устранить их местного своеобразия. И давно замечено, что не будь этого своеобразия, не было бы и европейской культуры.

\* Перепечатка из кн.: Н. Ульянов. Диптих. Нью-Йорк, 1967.

Старая Европа умела ценить источник своего творчества и свято хранила заповедь невкушения от древа познания собственной национальности. Это грехопадение совершила Европа новая. Она забыла, что «мысль изреченная есть ложь», и во сто раз большая ложь — «изреченное» чувство. Таинственное, иррациональное, не поддающееся определению, она захотела перевести на язык логических норм мышления и закрепить в документах и декларациях. Она забыла, что, по словам Вл. Соловьева, «идея нации есть не то, что она сама думает о себе во времени, но то, что Бог думает о ней в вечности».

\* \* \*

Целая эпоха связана с «национальным пробуждением», с «национальным самосознанием». Их отождествляли с прогрессом, с развитием духовных сил нации, а когда «пробуждение» сопровождалось образованием независимого государства, в этом видели залог наибольшего выявления национальных способностей и национальной самобытности. Утопическое представление о социализме как всеобщем благополучии ассимилировалось у Отто Бауэра с национальным государством. «Вовлечение всего народа в национально-культурную общность, завоевание нацией полного самоопределения, растущая дифференциация наций — вот что означает социализм». Никто теперь не сомневается, что «растущая дифференциация наций» ничего общего с прогрессом и материальным благополучием не имеет. Парнелл и фении, заставлявшие когда-то восторженно биться сотни тысяч сердец, несомненно обманули мир. Учредившееся благодаря их борьбе ирландское независимое государство своим сереньким никчемным существованием лишило подвиг Парнелла всякого обаяния. Стоило из-за этого безумствовать и бороться? Ни народное благосостояние не повысилось больше, чем оно могло повыситься под англичанами, ни культура не поднялась, а самое главное — вместо ожидавшегося расцвета национального творчества, выявления лучших сторон национального духа, наблюдается повсюду как раз обратное. Из всех познавших себя и самоопределившихся национальностей исходит такая обыденщина и пустота, что вряд ли они сами могут назвать это высшим выражением своей сущности. Разве можно сравнивать Италию эпохи Возрождения, даже Италию XVIII века с Италией после ее национального освобождения? Кавур и Гарибальди словно убили итальянский гений. Сделавшись великой державой, она перестала быть страной великих людей. Эта духовная бесплодность народов после их «пробуждения» — одна из самых загадочных черт истории нового времени. На нее сто лет тому назад указывал Герцен: «Все мельчает и вянет на истощенной почве — нету талантов, нету творчества, нету силы мысли, нету силы воли; мир этот пережил эпоху своей славы, время Шиллера и Гёте прошло так же, как времена Рафаэля и Буонарроти, как время Вольтера и Руссо, как время Мирабо и Дантона...»

Объяснял это Герцен явлением социализма, выступлением на арену пролетариата и начавшейся классовой борьбой. Преувеличенную роль классовой борьбы находим впоследствии и у Ленина в его ответе авторам сборника «Вехи». «Среди вопросов европейской жизни, — социализм стоит на первом месте, а национальная борьба на девятом... Смешно даже сопоставлять борьбу пролетариата за социализм, явление мировое, с борьбой одной из угнетенных наций».

Шантеклеры социализма внушали, будто солнце той эпохи всходило благодаря их пению. Нам, дожившим до времен, когда все связи и все страсти обнаружили свою призрачность перед страстями национальными, так что социализм пользуется успехом лишь в той мере, в какой способен выступать в национальном обличьи, ясно глубокое их заблуждение. Осью событий XIX века были не трескучие парижские баррикады и революции, а модные национальные восстания, вроде польского, греческого, венгерского, вроде борьбы за гомруль в Ирландии, объединения Италии, объединения Германии и связанных с ними кровавых войн.

Осень европейской культуры пришла вместе с «весной народов». Сколько неверного накопилось вокруг этой «весны», вокруг «самосознания»! Самое слово это выдает рациональную, головную природу современного национализма, далекого от природы истинной национальности, которая — не столько разум, сколько чувство, не самосознание, а самоощущение, самочувствование. Национальное чувство слагалось веками, росло как дерево, буз шума. Национальное сознание, напротив, всегда сопровождалось манифестациями, декларациями, митингами, пропагандой, экзальтацией. Оно как две капли воды похоже на деятельность политических партий. Оно и в самом деле — партийно, программно, демагогично. Национальное движение — это прежде всего идеология. Внедрение ее в умы и есть то, что принято называть «самосознанием». Оно никогда не бывает внезапным и всеобщим прозрением. Часто это длительный процесс, сопровождающийся большим умственным движением и политической борьбой. Национализм, как религия, начинается с пророка и горсти его учеников. Проповедями и анафемами, мирными увещаниями и силою власть имущих, мученичеством и террором распространяется он на широкие слои народа. Превосходно выразил это Муссолини, считавший, что национальная идея «осуществляется в народе через сознание и волю немногих, даже одного, и как идеал стремится осуществиться в сознании и воле всех». Нацию он понимает, как «множество объединенное одной идеей». Национализм нового времени — не от народной толщи, а от политической элиты. «Национальное самосознание» никогда не возникает само по себе, из «духа народа», его этнографии, языка или расы. Оно создается и, раз возникнув, само создает и «дух народа», и язык, и этнографию.

«Национальное самосознание» — это перелом в жизни нации, а вовсе не рождение ее, как иногда полагают. Имею в виду распространенную манеру проводить разницу между «народом» и «нацией». Был, дескать, период, когда народ не являлся национальностью; сделался он ею под влиянием социально-экономических причин (капиталистические отношения), и лишь с тех пор как осознал свою общность — как общность немцев или французов, — можно говорить о нем как о нации. Суждение это — не вклад в выяснение проблемы, а ее затемнение. Да и трудно его обосновать исторически.

Не говорю уже о еврействе, ясно обозначившемся как нация в древности, задолго до появления капитализма, но правильно и то, что говорят о Ломбардской Лиге середины XII века, как о национальном итальянском явлении.

Кто осмелится сказать, что эпоха Возрождения не есть величайшее выражение итальянского национального духа? Прочие европейские нации, сколько-нибудь ярко выразившие свою индивидуальность, сделали это тоже в более или менее отдаленные времена, до капитализма, до весны народов, до самосознаний и самоопределений. Народы с пеленок знали, что они немцы, французы, русские. Наша «Повесть временных лет» обнаруживает изумительное знание не только этнографической карты Восточной Европы X века, но и национальной природы ее племен. Другое дело, что в те времена не существовало идеи государственного объединения по национальному признаку. Но любовь к родине, чувство родства с собственным народом и с землей были, пожалуй, выше, чем в наши дни. Времена до и после «самосознания» можно было бы определить как истинно-национальное и псевдонациональное. В первом случае нация не являлась знаменем, ее редко упоминали, зато глубже чувствовали и выражали. Ее прославляли великими делами и творениями. После же самосознания самым великим делом считалось — прославлять нацию.

Тот же Каутский заметил, что если Ранке не мог определить словами, «что такое немецкое», то Зомбарт уже отлично мог это сделать. В книге, вышедшей в годы первой мировой войны, он определял «немецкое» двумя безошибочными признаками: «единодушным отклонением всего того, что хотя бы отдаленно напоминает английское, или вообще западноевропейское мышление и чувство», и — милитаризмом. «Милитаризм — это обнаружение немецкого героизма... Милитаризм — это героический дух, возведенный в степень воинского духа,

он — Потсдам и Веймар в их высшем объединении. Он — „Фауст“ и „Заратустра“, и партитура Бетховена в окопах».

Из этих основных свойств выводилось целое мировоззрение: «Самое лучезарное своеобразие нашего мышления состоит в том, что мы уже на сей грешной земле воссоединяемся с божеством. Так мы, немцы, в наше время должны пройти по всему свету с гордо поднятой головой и с непоколебимым чувством, что мы — божий народ. Подобно тому, как немецкая птица — орел летает выше всякой твари земной, так и немец должен чувствовать себя превыше всяких народов, окружающих его и взирать на них с безграничной высоты».

\* \* \*

То, что принято называть «узким национализмом», осуждается обычно за неприязнь к другим народам. Найдись смиренный, благовоспитанный народ, научившийся никакой такой неприязни не выражать, его бы и не осуждали, даже если бы он замкнулся в самолюбовании, в упоении самим собой. Его объявили бы образцом добродетели, идеальным случаем разрешения национальной проблемы. И все же самолюбование и самоупоение, хотя и не приносящие никому вреда — есть зло. «Только для абсолютного существа, для Бога, самосознание есть самодовольство и неизменность есть жизнь. Для всякого же ограниченного бытия, следовательно и для народа, самосознание есть необходимое самоосуждение и жизнь есть изменение. Поэтому истинная религия начинается с проповеди покаяния и внутренней перемены» (Вл. Соловьев). Единственным путем развития всех положительных сил русской нации, проявлением подлинной самобытности и залогом самостоятельного деятельного участия во всемирном ходе истории Соловьев считает прежде всего постоянное критическое отношение к своей общественной действительности. Петровские реформы представляются ему великим событием уже потому, что основаны «на нравственно-религиозном акте национального самоосуждения».

Нетрудно заметить разницу между таким самосознанием и тем, что принято разуметь под самосознанием национальным. Это последнее утверждается на чем угодно, только не на признании своего несовершенства. Зло национализма не в одной его агрессивности и вражде к другим народам, но прежде всего — в духовном убийстве своего собственного народа, живую национальную душу которого он подменяет формулой. Что бы ни говорил Отто Бауэр об «эволюционно-национальной политике», чуждой якобы стремлению сохранить в неприкосновенности некое установившееся своеобразие нации, единственный смысл всякой национальной политики и всякого национального самосознания заключается в том, чтобы закрепить какие-то черты в виде постоянных признаков и определить ими лицо нации. Для одних это милитаризм, для других религиозная идея, для третьих — просто расовое превосходство. Милитаризм — несомненно, немецкая страсть, но вряд ли она доминирует над всеми другими немецкими страстями. Всем так хочется канонизировать Обломова как русский тип. Но куда деть его современников — Базаровых, Верховенских, Шигалевых? У Милюкова в «Воспоминаниях» есть любопытный эпизод: в университетские годы он путешествовал по Италии и однажды возле Рима поднялся на Monte Cavo, где стоял монастырь. Там его ласково встретил и приютил на ночь монах, с которым завязалась приятная беседа. Но вот монах спросил, откуда он, и услышав, что русский — отпрянул. Нигилист?!

Почему в самом деле нигилист имеет меньше прав представлять Россию, чем Обломов? Почему при Александре III решили, что широкие офицерские штаны лучше выражают русский дух, чем изящная форма предыдущего царствования? Кто сочинил эти «национальные устои»? «Нация — не что иное, как духовное тело народа, созданное в ходе его истории. Оно меняет форму, но при всех изменениях остается верным самому себе»<sup>1</sup>.

В тот день, когда появляется перечень национальных примет и особенностей, нации выдается своего рода паспорт с приложением фотографической карточки. Отныне каждый полицейский может посадить ее в тюрьму, как только обнаружит несходство ее облика с паспортными данными. Некоторым народностям пришлось уже сидеть по этому случаю в тюрьме; другим это предстоит в будущем. «Национальное самосознание» — эмбрион тоталитаризма.

Национальное чувство лишено принудительного характера, оно естественно вытекало из всего потока народной жизни: национальная же идея означает тиранию и всеобщее подчинение. Она поднимает вопрос о национальном воспитании. «Национальной политикой, — по Отто Бауэру, — можно назвать планомерное сотрудничество с целью вовлечь весь народ в национальную культурную общность, определить его при помощи национальной культуры и тем превратить его в общность национального характера». Какое обилие глаголов императивного оттенка — «вовлечь», «определить», «превратить», выдающих страдательную роль масс и активность инициаторов «планомерного сотрудничества»! Картина «духовной перековки» народа — совершенно ясная. Муссолини и термин этот знает: «Фашизм *перековал* характер итальянцев, сорвав с наших душ все нечистые наросты, закалил его для всяких жертв и придал итальянскому лицу настоящую силу и красоту». Для него, как для Отто Бауэра, «без государства нет нации». Этим откровенно выдается связь национальной идеи с властью, необходимой для ее ограждения и распространения на широкие слои народа.

Сейчас предпринимаются попытки определения природы тоталитарных государств. Ее видят в простом властвовании, в беспрекословном повиновении народа, в произволе государственного аппарата и в подчинении всех сторон жизни его контролю. Под эти признаки, однако, подойдет и старое прусское полицейское государство, и государства рыцарских религиозных орденов Прибалтики, и тирания властителей эпохи Возрождения, и восточные деспотии. Ни с одним из них нельзя сравнить современные тоталитарные режимы. Они действительно особенные. Их особенность не во всепроникающей, всеобъемлющей роли государства, не во властвовании ради власти, что в сущности не ново, а в наличии идеи, руководящей государством. Тоталитарный режим — это прежде всего идеократия. Так он и определен у того же Муссолини: «Фашизм, будучи системой правительства, также, и прежде всего, есть система мысли». В другом месте он называет его «действием, которому присуща доктрина и доктриной, которая, возникнув на основе данной системы исторических сил, включается в последнюю и затем действует в качестве внутренней силы».

Подобно государствам Гитлера и Муссолини, все фашистообразные режимы — Пилсудского, Антонеску, Хорти, Ульманиса — порождения национальной идеи. Логика всякого национального государства есть логика тоталитарная. Где «национальная идея» — там ложь, где ложь — там принудительное ее распространение (ибо лжи добровольно не принимают), а где принуждение — там и соответствующий аппарат власти.

У одного нашего видного публициста есть интересное высказывание: «Национализм, возведенный в ранг главенствующего и определяющего начала, представленный сам по себе, действует как огонь прерий: он выжигает кругом всю растительность, искажает и уродует все взаимоотношения между народами». В наши дни, по его словам, «национальные эмоции и интересы более чем когда-либо владеют душами народов и увлекают их на путь, который ведет в историческую пропасть»<sup>2</sup>.

Это очень верно и это постоянно надо помнить, читая знаменитое выражение Карамзина — «патриотизм требует рассуждения». Именно рассуждения возвели его «в ранг главенствующего и определяющего начала» и подняли до зомбаровских высот: «зная, что мы храбрее многих, не знаем еще, кто нас храбрее».

Рассуждение — столь же губительно для национального чувства, как для любви, например.

«Большая часть людей, — по уверению Лескова, — любит не зная за что: и это — слава Богу, потому что если начать разбираться, то поистине некого было бы любить». Чем глубже и основательнее разбирательство причин любви к родине, тем родина дальше уходит от нас, и тем настоятельнее потребность замены ее кумиром. Современный патриотизм, как правило — идолопоклонство.

Но исторической пропастью грозит нам не один национализм. Вместе с ним выползло на сцену другое чудовище из того же рода, вида и семейства, только иной окраски. Они враждебны друг другу, но выражают две стороны одной и той же сущности. В старой Европе чувство национальное и чувство космополитическое не были разделены между собой, пребывали в гармоническом единстве. В Европе современной национальное и интернациональное отделились друг от друга и сделались врагами; каждое живет независимой жизнью, у каждого растет горб его уродства — идет саморазвитие заложенной в нем ограниченной идеи. Все сказанное о национализме, как убийце народной души и подлинной национальности, относится в той же мере к интернационализму. Он такого же рассудочного происхождения и такой же носитель бацилл тоталитаризма. Хотя, в противоположность современному национализму, он облекается в ризы международного единства, но подлинному единению наносит едва ли не больший удар, чем национализм. Он выступает открытым врагом той духовной основы, что питает настоящее братство народов.

Идея всечеловеческого единства очень древняя. Она существовала в библейские, ассиро-вавилонские времена и в эпоху римской империи, представлявшей как бы всемирное государство; его написало на своей хоругви христианство, а начиная с эпохи Возрождения, рос и креп самый прочный из всех интернационалов — интернационал наук и искусств. Это были опять те времена, когда международность не прокламировали, но служили ей. И служили ничем иным как высшим напряжением творческих сил нации. Международность выростала из национальной жизни. Здоровое национальное чувство и творчество порождали также чувство космополитическое.

Шекспир, Бэкон, Ньютон — англичане, но они близки и всей Европе. Через них английское национальное становится всемирным. Общечеловеческое значение Англии тем больше, чем ярче выражает она свое самобытное. То же Франция, Италия, Германия, всякая другая страна. Даже полководческие подвиги, неотделимые по своей природе от вражды народов, не только разъединяют, но и сплачивают людей в преклонении перед военным гением. Наиболее яркие и самобытны те национальности, что дали больше других ценностей мирового значения. А мировая культура и общечеловеческое единство растут тем быстрее, чем напряженнее творчество отдельных национальностей. Никакого другого органического пути для возникновения и укрепления интернациональных связей и любви между народами не существует. «Кто не принадлежит своему отечеству, тот не принадлежит человечеству», — сказал Гельвеций. Знаменитые капиталистические отношения с их обменом и универсальной техникой, на которые столько надежд возложили социалисты, нисколько не сблизили национальности, скорее сделали их внутренне более отчужденными. Космополитизм — духовная, а не экономическая проблема, он рождается из национальной, а не из классовой стихии. Для него недостаточно «солидарности», нужна любовь. Только возлюбив чужую культуру и чужой народ, как свои собственные, можно стать истинным космополитом. Мне кажется, слова «космополитизм» и «интернационализм» прекрасно выражают разницу двух явлений международнойности. Первое означает приятие всего мира как родины, как своего «полиса». Всеобщее, мировое не противопоставляется здесь частному, национальному: родина расширяется до мира, мир принимается в отечество. Совсем другое звучит в «интернационале». Тут частица «inter» исключает какую бы то ни было близость с национальным началом. Всемирность понимается как нечто стерилизованное, очищенное от патриотической скверны, возникшее где-то «между» нациями. Ее идейное рациональное происхождение еще яснее, чем у «национального сознания». В ней нетерпеливое желание создать мировое единство во что бы то ни стало, вопреки

медленности его естественного созревания. Интернационализм очень похож на искусственный язык эсперанто — безличный, бездушный, способный обслуживать техническую сторону связи между иностранцами, но никак не сближающий их духовно. Существо интернационализма — в его органической враждебности всему национальному. Ленин потому только возражал против национально-культурной автономии, что боялся заражения пролетариата националистической идеологией. «С точки зрения социал-демократа, недопустимо ни прямо, ни косвенно бросать лозунг *национальной* (подчеркнуто Лениным) культуры». Всякая любовь к родине, самая невинная и чистая, берется под подозрение и отождествляется с шовинизмом. Если у пролетария нет отечества, то его подавно не должно быть у сознательного интернационалиста. Атрофия всяких теплых чувств к отечеству — предмет его гордости. Он «выше» подобных привязанностей.

Но спросят: а что же значит требование полного самоопределения наций, вплоть до самостоятельного государственного существования, исходящее от интернационалистов? Что значат их декларации и «платформы», провозглашающие принципы свободного, ничем не стесняемого национального развития?

Это их «национальная политика». Существует убеждение, что чем меньше внешних стеснений для данной нации, тем скорее победит в ней интернациональное начало в лице пролетариата. Это не симпатия к национальному, а путь его изживания. Торжество же интернационала мыслится не иначе как в результате исчезновения национального чувства. Полагают, что уже сейчас можно дышать иным воздухом, чем отечественный. Ленин и Каутский утверждали, будто благодаря обмену и капитализму, духовная жизнь человечества уже сейчас достаточно интернационализована, а при социализме станет целиком международной. Но, в противоположность космополитизму, рост этой международнойности мыслится не путем национального творчества, а благодаря его приглушению и полному исчезновению. Лучшее всего это выражено опять-таки у Ленина. Еще в 1913 году он писал: «Интернациональная культура, уже теперь создаваемая систематически пролетариатом всех стран, воспринимает в себе не „национальную культуру“ в целом, а берет из каждой национальной культуры *исключительно* ее последовательно демократические и социалистические элементы». Убийственный для народного творчества характер интернационализма выражен здесь с предельной откровенностью. Из многовекового, исторически сложившегося национально-культурного организма выжимаются специальные соки — «социалистические элементы». Остальное бросается собакам. «Интернациональная культура» возносится не на цветах, а на трупах национальных культур. Ленин с полным основанием мог назвать ее особой, «иной». В подготовительных его набросках к «Тезисам по национальному вопросу» есть запись: «Соединение, сближение, перемешивание наций и выражение принципов *иной* (подчеркнуто Лениным) интернациональной культуры.

\* \* \*

Что интернационализм — война национальному чувству, лучше всего показали большевики. У них сразу после их прихода к власти возникла важная отрасль деятельности, носящая название «интернационального воспитания». Всякий, кто жил в Советском Союзе, знает, что это было планомерное, систематическое искоренение всякой привязанности к родине. Это она подверглась осмеянию и поношению во имя более «высшего» и «единственного достойного нашей эры» чувства. Только этим объясняется варварское уничтожение национальных святынь и памятников, оплевывание всего прошлого народа, его истории. Когда вздумали взрывать стены и башни Симонова монастыря и академик Щусев на коленях умолял пощадить этот исключительный памятник итальяно-русского зодчества XVI века, известный журналист Мих. Кольцов нагло насмехался над ним со страниц «Правды». Симонов монастырь, заявлял он, будет взорван не взирая на заступничество тысячи академиков, как символ старой Руси, как напоминание о «проклятом прошлом».

Можно не сомневаться, что приди вместо большевиков к власти другие циммервальдисты, они вели бы ту же политику интернационального воспитания. Она была бы, может быть, более мягкой, но в существе своем заключала бы все ту же борьбу с национальным чувством.

Между тем, история трех интернационалов показала искусственный характер движения. Под ним не только не найдено никакого народного начала, но и составлявшие его активные интернационалисты оказались на поверку, в большинстве своем, вовсе не интернационалистами. Две мировые войны до такой степени развенчали этот миф, что охотников возродить его открыто не находится. Тем не менее, ни от интернациональных задач, ни от интернационального воспитания большевики до сих пор не отказались, несмотря на вынужденную во время последней войны уступку патриотическому чувству народа. Они облекли этот патриотизм в черносотенные формы и сделали ненавистным всем сколько-нибудь культурным русским людям. Но для подозрения их самих в истинном или черносотенном патриотизме нет никаких оснований, так же как нет оснований думать, будто они перестали быть врагами религии, позволив открыть церкви и разрешив отправление богослужений. Кто захочет вторить модной сейчас пропаганде, внушающей, будто большевизм из международного превратился в национально-русское явление, тот обязан представить более солидные тому доказательств, чем вульгарная болтовня в духе брошюры Карла Лойтнера «Russische Volksimperialismus», выпущенной еще в годы первой мировой войны, или высказываний Альфреда Розенберга. Коммунисты, как были, так и остаются проводниками интернациональной идеи. И никто иной как Ленин, основатель советского государства, может считаться воплощением такого фанатизма. «Наплевать на Россию», принести ее с легким сердцем в жертву безумному эксперименту, воспользоваться с помощью воевавшего с Россией государства — ничего ему не стоило. Он еще в детстве, играя в солдатики, любил представлять эту игру, как битву русских с англичанами; всегда стоял на стороне «англичан» и с удовольствием бил «русских»<sup>3</sup>.

Такой интернационализм стоит нацизма.

Прав Иван Аксаков: «Лжет, нагло лжет, или совсем бездушен тот, кто предьявляет притязание перескочить прямо во „всемирное братство“ через голову своих ближайших братьев — семьи или народа, или же служить всему человечеству, не исполнив долга службы во всем его объеме своим ближайшим ближним». Такие упреки немыслимы были бы в отношении здорового космополитизма, не отрекшегося от своего отечественного и полагающего служение родине, народу, в качестве основания для всемирного служения. Только такая всемирность не порывает с таинственным родником культурного творчества.

Интернационализм в большей степени, чем его антипод представляет отвлеченную и ограниченную идею. В этом смысле не случайно, что и первое насильническое тоталитарное государство было основано под его знаменем.

#### Примечания

<sup>1</sup> W. Veidle. La Russie absent et presente. P. 53.

<sup>2</sup> Р. А. Абрамович. Национальный вопрос и социал-демократия // Соц. Вестн. № 7, 1948 г.

<sup>3</sup> См. Н. Валентинов. Ленин в Симбирске // Н. Ж., кн. 37.

#### «Patriotism needs consideration»

A reprint of an article of a Russian emigrant historian and writer N. Uliyanov «Патриотизм требует разсуждения» (Дигтих. Нью-Йорк, 1967. С. 145—161). The author presented some considerations on the ideas of patriotism, nationalism and internationalism in connection with the political development of Europe in XIX—XX centuries.